

WASILIJ SZCZUKIN
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytet Jagielloński

МЕТАФИЗИКА ЛАНДШАФТА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ РАВНИНЫ (ФЕДОР СТЕПУН)

Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит чрез всю нашу историю (...): это – факт географический¹.

Петр Чаадаев

Характер любой цивилизации или, как сказали бы Освальд Шпенглер и Николай Анциферов, ее душа самым тесным образом связаны с окружающим ландшафтом и, шире – с географической средой. В этом смысле «факт географический», о котором упоминал Петр Чаадаев, если не «властно господствует», то по крайней мере существенно влияет на жизнь самых различных народов мира, а не одной лишь России. Тем не менее автор *Философических писем* был прав в интенциональной направленности своей мысли: география во все времена оказывала влияние на русскую историю весьма своеобразным образом, отличающимся от того, что называют простым влиянием – именно она чаще всего предопределяла возможность или невозможность совершения любого исторического деяния, а также его целевую направленность. А самое главное во всём этом то, что именно имеется в виду под словом «география». На мой взгляд, это понятие в данном случае выступает как неточный, но всё же близкий синоним слова *природа*. Вечная и безграничная природа, по сравнению с которой человек со всей его культурой подобен малой пылинке, затерянной в беспредельном космосе. Природа девственная, необузданная, неосвоенная, частицей которой являемся мы сами.

¹ П.Я. Чаадаев, *Апология сумасшедшего* [в:] П.Я. Чаадаев, *Статьи и письма*, Москва 1989, с. 161.

Но все ли с этим согласятся? Современный каталонский писатель Фернандо Саватер, мысленно обращаясь к своему сыну, утверждает противное:

Ты открываешь глаза, глядишь вокруг себя, как будто делаешь это впервые... Что ты видишь? Небо, на котором светит солнце или плывут облака, деревья, горы, диких животных, широко раскинувшееся море? Нет, сначала ты увидишь иную картину, более близкую тебе, самую родную, в буквальном значении этого слова – ты увидишь присутствие человека. Первый пейзаж, который мы видим – это люди, это их лица и другие следы подобных нам существ: улыбка матери, любопытство людей, которые появляются вокруг нас и заботятся о нас; это стены комнаты, скромной или богато обставленной, но всегда построенной или хотя бы обустроенной человеческими руками; это огонь, разоженный затем, чтобы греть и защищать нас; это орудия труда, украшения, машины, а быть может, произведения искусства... Одним словом – мы видим других людей и их вещи. Прийти на свет значит прийти в наш, человеческий мир. Существовать в мире – значит быть среди людей, то есть жить – хорошо, хуже или совсем плохо – но в обществе².

До конца ли это так? Со словами Саватера, без всякого сомнения, согласился бы Чаадаев, согласились бы Николай Чернышевский и Осип Манделштам, согласился бы Михаил Бахтин, который прямо противопоставлял человека природе³. Но ни за что бы не согласился Лев Толстой и скорее всего не согласился бы Пушкин, написавший:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять⁴.

И наверняка не согласились бы Тютчев, Фет и многие другие русские пантеисты. И я полагаю, что правы обе стороны. Конечно, и каталонский, и русский мальчик, появляясь на свет, видит мать, отца и других подобных ему существ. Но в то же самое время он видит солнце, без которого не было бы ни матери, ни общества, ни культуры. Ведь можно родить ребенка в четырех стенах, но можно и в поле, и в лесу, и совсем еще недавно (что значат сто или двести лет по сравнению с памятью о тысячелетиях рода человеческого?) немало людей приходило на свет не под белыми сводами родильных отделений, а под звездами или под облаками. Думать так, как думает Саватер, может только человек, многие поколения предков которого жили в густо населенном, цивилизованном пространстве, среди тщательно возделанных полей, городских стен и полок с книгами, а никакого другого, очень большого и совершенно безлюдного

² F. Savater, *Polityka dla syna*, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 155 (4366), s. 21 (фрагмент книги Ф. Саватера *Polityka dla Amadora – Política para Amador*, Barcelona 1998). Перевод с польского мой. – В.Щ.

³ «Противопоставление природы и человека. Софисты, Сократ („Меня интересуют не деревья в лесу, а люди в городах”))» (М.М. Бахтин, *К методологии гуманитарных наук* [в:] М.М. Бахтин, *Эстетика словесного творчества*, изд. 2-е, Москва 1986, с. 390). Источник неточной цитаты из Сократа – диалог Платона *Федр* (Платон, *Сочинения в 4 томах*, т. 2, Москва 1970, с. 163).

⁴ А.С. Пушкин, *Полное собрание сочинений в десяти томах*, т. III, Москва–Ленинград 1949, с. 131.

пространства нигде и в помине не было. Таким людям, как правило, мудрым и гуманным, трудно себе представить, что на самом деле означают такие слова, как *кулундинская степь*, *васюганские болота*, *полярная ночь*, *вечная мерзлота*, а главное – что такое *ненаселенка*. Когда неделями кругом одна тайга и тысячу километров в любую сторону ни души, когда мучительно хочется сбросить накомарник, помыться и переодеться, а нельзя, когда в шуме деревьев и крике птиц слышится стук колес и гудки тепловоза, которых нет и быть не может – только тогда понимаешь, что такое *ненаселенка*, а она-то и есть настоящая природа. К этому стоит добавить, что районы с плотностью населения менее одного человека на квадратный километр в Российской Федерации составляют около половины ее территории (48 %), а плотность населения в огромном по величине Эвенкийском районе Красноярского края составляет 0,03 человека на квадратный километр. Это второй показатель в мире после Нунавута – арктической территории на севере Канады⁵.

Русский человек, даже коренной горожанин, как правило, хорошо помнит о том, что от города до города у нас не десятки, а сотни километров, что хороших дорог никогда не было и что они не скоро будут – хотя бы потому, что построить километр хорошего шоссе в европейской части России в четыре раза дороже, чем в Западной Европе. Он знает, что вовсе не надо ехать в Сибирь, чтобы оказаться в совершенно безлюдной, лишенной каких бы то ни было признаков цивилизации местности. Всего навсего в ста километрах к северу от Москвы, в селе Спас-Угол, где родился Михаил Салтыков-Щедрин, среди еловых лесов и болот Приволжской низменности, уже чувствуешь, что такое настоящее захолустье, «куда Макар телят не гонял» (любимая поговорка Щедрина), и каким образом в сознании гениального сатирика родилась заключительная фраза главы об Угрюм-Бурчееве – «История прекратила течение свое»⁶. А чуть дальше, в Тверской или Ярославской губернии, есть такие грандиозные «мхи» – болота, где на десятки километров вокруг нет ни дорог, ни деревень и куда годами никто не заходил: неуютно, да и опасно.

Как же жить в таком мире настоящему горожанину, если, как утверждает компетентный исследователь, одним из признаков городской жизни является «разрыв связи человека с природой»?⁷ Наверное, так же, как жить с родной матерью: перерезать пуповину необходимо, стать психически самостоятельным тоже, но надо ли забывать о кровных связях, надо ли стремиться к конфликту из-за гордой осознанности превосходства цивилизации и культуры, то есть собственного своего превосходства над природой? Позволю вспомнить свои собственные первые ощущения.

⁵ <http://www.sci.aha.ru/ATL/ra13a.htm>.

⁶ М. Салтыков-Щедрин, *История одного города. Господа Головлевы. Сказки*, Москва 1975, с. 180.

⁷ Э.В. Соколов, *Город глазами культуролога* [в:] *Город и культура. Сборник научных трудов*, Санкт-Петербург 1992, с. 11.

Я родился на Моховой улице, у стен Кремля, напротив Румянцевской библиотеки. Каковы были первые мои воспоминания? Темная комната, кухня, кровать, белая печка-голландка; но тут же, сразу же, одновременно – ослепительное солнце и упоительный запах весеннего воздуха. А первые мечты – о том, чтобы меня увезли далеко-далеко, чтобы увидеть, какой мир бывает там. К тому же, как Сергей Аксаков, описавший свои детские впечатления в *Детских годах Багрова-внука*, я больше помню не Москву, а то, как меня вывозили за город, на дачу. Зеленая трава, речка, деревенский двор, садик – это было, наверное, тогда куда интереснее, чем полки с книгами. Впрочем, с возрастом интересы менялись, и годам к пяти я уже часами рылся в книжном шкафу. Неизменными остались две, на мой взгляд, всё-таки мнимые противоположности – любовь к природе и любовь к городу.

«Географию», то есть безотносительную власть природы ощущает на себе каждый русский человек, потому что по сравнению с цивилизацией нетронутой природы в России всё еще очень много. При этом сразу же следует ясно обозначить признаки этой вседвлекательной природы, ее самые важные составляющие. Это, во-первых, значительные размеры страны, во-вторых, ее пустота, то есть первобытность, неосвоенность большей части ее территории и бессилие человеческого начала перед лицом дикой природы, а в-третьих – явно преобладающая однородность, монотонность ландшафта.

Подобного рода тотальный «географический детерминизм», «топомагия (магия места)»⁸, о котором можно сказать, что «там (...) в пространстве затерялось время» (А.А. Фет)⁹, не раз приводил в отчаяние самых разных представителей образованной элиты. С одной стороны, император Николай I говорил, что «пространства являются несчастьем России»¹⁰, а с другой – один из его ярких противников, Владимир Печерин, первый русский политический эмигрант Нового времени, считал, что «родился в стране отчаяния», над которой тяготеет проклятье «закона географической широты»¹¹. В то же самое время нельзя не согласиться с замечанием современного исследователя, который напоминает о том, что

(...) ламентации насчет разрушительной силы российских пространств появлялись только в высокой (но не в народной) культуре (...). Это отрефлексированное ощущение пространства, осознанное под сильнейшим влиянием европейского примера. Культуре народной это вовсе не присуще. Народ давно приспособился

⁸ Меткое выражение В.И. Мильдона, касающееся топологического детерминизма в русской национальной традиции. См.: В.И. Мильдон, *Открылась бездна. Образы места и времени в классической русской драме*, Москва 1992, с. 13.

⁹ А.А. Фет, *Никогда* [в:] А.А. Фет, *Сочинения в двух томах*, т. 1, Москва 1982, с. 61.

¹⁰ Цит. по: *Хрестоматия по географии России*. Под общей ред. Д.Н. Замятина. *Пространства России*. Сост. Д.Н. Замятин и А.Н. Замятин. Предисл. Л.В. Смирнягина. Послесл. В.А. Подороги, Москва 1994, с. 14.

¹¹ В.С. Печерин, *Замогильные записки (Apologia pro vita mea)* [в:] *Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников)*. Под ред. И.А. Федосова, Москва 1989, с. 162.

к своему пространству и ощущает его безболезненно. Народ, похоже, пренебрегает расстояниями и обустроенностью места¹².

Позволю от себя заметить: пренебрегает, по всей видимости, не из принципа, а потому, что же ему еще остается делать? В таких замечательных произведениях, как *Живой* Бориса Можаяева или *Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина* Владимира Войновича великолепно показано, что такое «пренебрежение расстояниями и обустроенностью места» – поведение вполне рациональное. В других же условиях для того же самого народа рациональным может оказаться совсем иное.

Остановимся вкратце на каждом из трех вышеупомянутых признаков русской географической среды.

1. Размеры страны

Я никогда не забуду изумления польских семиклассников, моих учеников¹³, когда я развернул перед ними карту Советского Союза – так тогда называлась Россия. «А где же Польша?» – спросил один из них. Я указал на левый край карты и обвел пальцем границы. «Не фигу себе... – промычал мальчик. – Это значит, мы такие маленькие?». Остальные стояли, разинув рты. Мне стало как-то неловко. «Видимо, да, – проговорил я. – Хотя, конечно, смотря с какой стороны посмотреть. Бельгия или Голландия гораздо меньше». А между тем ребята шарили руками где-то между Камчаткой и Среднесибирским плоскогорьем...

О русских безмерных и беспредельных пространствах-просторах написано много умного и верного, но гораздо больше – просто интересных, а главное – красивых или всего лишь эффектных слов, заставляющих работать мысль, но имеющих мало отношения к действительному положению вещей. Тексты такого рода чаще всего являются мифическими или мифотворческими, в том смысле, в котором употреблял термин «миф» Ролан Барт, в применении к современной массовой культуре¹⁴. Они были созданы или составлены по правилам мифопоэтики. В свое время я определил миф как «упрощенное, одностороннее и потому популярное истолкование некоего явления или проблемы, которое между тем указывает на истинную их сущность»¹⁵, короче – как чудесное упрощение.

¹² Л. Смирнягин, *Пространство в России* [в:] *Хрестоматия по географии России*, с. 10–11.

¹³ С 1979 по 1981 год я работал учителем русского языка в начальной школе № 13 в Кракове.

¹⁴ Подробнее см.: Р. Барт, *Мифологии*, пер. с франц., вступ. статья и комм. С.Н. Зенкина, Москва 1996, с. 207–208.

¹⁵ В. Щукин, *Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе*, Краków 1997, с. 54.

Очень большая территория – это, без всякого сомнения, первый и самый главный отличительный признак России. Это качество воспринимается как высочайшая и самодовлеющая ценность. Русские люди, как правило, гордятся тем, что их страна самая большая в мире¹⁶. Остальные ее широко известные атрибуты, в том числе слабая степень цивилизованности, экономическая, социальная и политическая отсталость и даже, рискну заметить, культурная соотнесенность (восточно-христианская, евразийская и т. п.) представляются вторичными и менее важными. Я вполне могу себе представить Россию не православной. Я могу вообразить ее абсолютной монархией, наподобие Саудовской Аравии или демократической федеративной республикой, наподобие Индии. Я мог бы представить себе, что она уже не самое большое государство мира: скажем, Россия без Сибири всё равно останется самой собою. Невозможны только два варианта – Россия не говорящая по-русски и маленькая Россия. Обменять большую и «нищую», как писал Александр Блок, Россию на благополучное, высокоразвитое уютное государство, нечто вроде Швейцарской Конфедерации или Словении, я бы не согласился ни за что на свете. И у меня есть основания полагать, что со мной согласились бы если не все, то очень многие соплеменники-великорусы.

2. Пустота

Пустота по-русски красиво именуется простором. По мнению ряда компетентных наблюдателей, простор – это слово, которому нет прямых соответствий в западноевропейских языках, кроме немецкого *der Raum*. Это слово, как в свое время указывал Владимир Вейдле –

(...) мало понятное иностранцу и объясняющее, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегороженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного, понимание свободы, не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя¹⁷.

В толковом словаре Владимира Даля указаны три значения этого слова: первое – «простое, пустое, порожнее, ничем не занятое место, относительная (не безусловная) пустота; пространство по трем размерам своим»; второе – «досуг, свободное, праздное время»; третье – «свобода, воля, раздолье (...), противоположное – гнет,

¹⁶ Это подтверждается на основании целого ряда устных и письменных высказываний. Подробнее см.: Е.В. Дущечкина, «От Москвы до самых до окраин...»: *Формула протяжения России* [в:] *Риторическая традиция и русская литература. Межвузовский сборник*. Под ред. П.Е. Бухаркина, Санкт-Петербург 2003, с. 108–125.

¹⁷ В. Вейдле, *Задачи России* [в:] *Хрестоматия по географии России...*, с. 47.

стеснение»¹⁸. Изучая лексический состав русских диалектов и русские пословицы, Даль пришел к выводу, что свобода – для русского человека в известной мере синоним простора – «понятие сравнительное, она может относиться до простора частного, ограниченного, к известному делу относящемуся, или к разным степеням этого простора, и наконец к полному, необузданному произволу, самовольству»; народное же понимание свободы – это «вольница, без всяких повинностей и обязанностей»¹⁹. А коль скоро доподлинно известно, что свобода – в данном случае не важно какая – является одной из высочайших ценностей не только для всех людей, но и для представителей целого ряда иных биологических видов²⁰, то из вышеупомянутого семантического спектра следует, что великорус в самом деле отождествляет большое и относительно пустое пространство с чрезвычайно важной для себя материей.

Тем самым размышления о необъятности русских пространств незаметно приводят нас ко второму их важному признаку – пустоте, незаполненности цивилизационным «шумом» и «сором». Это позволяет живущему на них человеку оказаться один на один с космическими стихиями, а только такая встреча дает возможность воочию познать величие настоящей, «чистой» природы. Это вовсе не значит, что каждый житель Москвы, Петербурга или даже Красноярска и Иркутска обязательно ее увидит и на собственном опыте ощутит ее грозное и торжественное *memento*. В России можно всю жизнь прожить в благоустроенном городе, в благополучной интеллигентной семье, среди библиотечных полок, концертных залов и университетских аудиторий, как орнитолог Иван Александрович из романа Михаила Осоргина *Сивцев Вражек*. Но каждый внимательный читатель заметит, что природа постоянно присутствует где-то на заднем плане в жизни и в сознании даже таких героев. Память об окружающей или еще совсем недавно окружавшей нас культурной пустоте есть в каждом из нас. И мы ни в коем случае не боимся, не ненавидим этой пустоты, не объявляем ей войну, как бы подсознательно беря пример с простого народа, который тем более ее не боится и не пытается с ней единоборствовать. Как верно заметил Валерий Подорога, «простираение нельзя обжить», тем более, что у России нет определенных национальных границ²¹. Но в то же самое время практически все русские образованные люди были просветителями, строителями культуры и творцами национальной культурной памяти, а многие из них обустроивали российские пустоты в самом «материальном», техническом смысле этого слова, строя города, железные

¹⁸ В.И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, т. III, Москва 1980, с. 514. Разрядка моя. – В.Щ.

¹⁹ *Ibidem*, т. IV, с. 151–152.

²⁰ Любое пойманное животное инстинктивно стремится вырваться на волю и убежать.

²¹ В. Подорога, *Простираение, или «география русской души»* [в:] *Хрестоматия по географии России...*, с. 133.

дороги, мосты и электростанции. Строя цивилизацию, создавая культуру параллельно, а не вопреки «чистой» природе, они хорошо понимали, в что в таких случаях необходим консенсус – гармоническое согласие человеческого деяния более с космической, нежели с исторической предопределенностью. Чаадаев, Печерин, Мандельштам или Бахтин, считавшие, что место человека не в космосе, а в обществе и его истории, неизбежно оказывались в ситуации романтиков, не желавших мириться с российской очевидностью.

3. Однообразии ландшафта

Объективно, с подлинно научной честностью и скрупулезностью подошел к этой проблеме замечательный русский мыслитель Федор Августович Степун.

Он был убежден в том, что сходство между ландшафтом, который какой-либо народ населяет, и «духовным обликом представляемой им культуры» – не случайность, а глубокая онтологическая закономерность²². Обращаясь к пространствам России, он вполне обоснованно призывал изучать русский ландшафт, не принимая в расчет экзотические части империи, вошедшие в ее состав в XVIII и XIX веках, такие как Кавказ или Средняя Азия, а «искать ключ к сути русского духовного творчества в обширной равнине, которая начинается в Европе и, переходя через Урал, тянется в Азию»²³, ибо на ней и родилась русская культура. Однако чтобы объяснить своеобразие этой равнины, Степун впервые прибегает к феноменологическому сравнению ее с западноевропейскими ландшафтами, по принципу доказательства от противного. Свою раннюю статью *К феноменологии ландшафта* (1912) он начинает с описания душевного погружения в пейзаж Тосканы – прямой противоположности русскому простору:

Мягкие контуры гор и холмов всегда изумительно четки. По их нежно округлым, профильным линиям отдельные деревья кипарисов и пиний восходят каждое в своей индивидуальной оформленности и законченной изваянности. Целые аллеи этих наиболее характерных для флорентийского ландшафта деревьев сливаются в явно зодческие мотивы.

Туманно брызжущими утрами и особенно светлыми ночами стройные кипарисы подымаются ввысь могучими колоннадами, а широко-ветвистые макушки пиний единят их тяжелым карнизом. Понятно, что такая формальная завершенность деревьев придает особую строгость рисунка тому лесу, что зовет путника вдали, на

²² Ф.А. Степун, *Большевизм и христианская экзистенция* [в:] Ф.А. Степун, *Сочинения*. Сост., вступ. статья, прим. и библиогр. В.К. Кантора, Москва 2000, с. 583. Следует особо подчеркнуть, что мысль о влиянии ландшафта на мышление, культурное и художественное творчество человека встречается у многих авторов первой половины XX века и, скорее всего, восходит к немецкой антропогеографии второй половины предыдущего, XIX столетия (Фридрих Ратцель и его школа).

²³ Ibidem.

горизонте, и безусловную архитектурность тому иному, который успокаивает его в своей тиши (...).

Интересны дороги Тосканы. Созданные руками человеческими, они невольно подчинились в своем эстетическом образе основной сущности флорентийской природы, – ее завершенной оформленности. Но вольная природная форма, пройдя сквозь сознание и труд человеческий, явно определилась лишь одним из своих существенных элементов – элементом грани и ограниченности. Лежащая в долине реки Арно, Флоренция окружена холмами. Почти все дороги оплетают эти холмы, и потому все они видны путнику лишь до ближайшего изгиба или поворота. Как ни рвись душа к последним и еще не опознанным далям, по дорогам Тосканы нельзя двигаться иначе, как в постоянном успокаивающем созерцании *предварительной цели*. Как бы стремясь облегчить быстрое достижение видимых целей, вдоль флорентийских дорог, закрывая от ищущих взоров поющие красоты цветущих гор и долин, тянутся высокие белые стены. Так суживает эстетическое совершенство флорентийского ландшафта великий путь человека к бесконечности и безграничности. Этой сверхэстетической тайны своей внутренней жизни человеку никогда не поведать пленительной, спокойной красавице флорентийской природе. Как неуместную бестактность осмеет она такую искренность; как враждебное себе начало предаст она своему рыцарству доверенную ей жажду бесконечного, предаст законченную строгостью своих ритмов и форм.

Сущность формы есть, в значительной степени, победа над массой. Победа формального элемента в флорентийском ландшафте значительно облегчена отсутствием тяготеющих масс: нет высоких гор, необъятных взору равнин, непроходимых и дремучих лесов. Холмы, цветущие равнины, рощи и группы деревьев (...).

Все описанные особенности флорентийского ландшафта, психологически слагающиеся в ощущение простоты и покоя, лучше всего группируются вокруг понятия композиции. Здесь оправдывается и утверждается положение Оскара Уайльда, что не искусство подражает природе, а наоборот – природа искусству²⁴.

Не правда ли, Степун смотрит в корень, проникает в самую суть проблемы? Рожденный тосканцем невольно будет облекать свои мысли и плоды культурного творчества в законченные эстетические формы, вполне классические по характеру, в известном смысле сродни греко-римской античности. Безмерность ему неведома или враждебна, как враждебна она окружающей его природе. Таковы и его города – Флоренция, Сиена, Пиза, Лукка и многие другие – небольшие, концентрированно застроенные, соразмерные с человеком, ясно и разумно распланированные, лишенные каких бы то ни было грандиозных акцентов, кроме, быть может, кафедральных соборов, которые, однако, уступают своим французским и немецким собратьям по величине архитектурных объемов и экспрессии форм. Одно лишь заставляет задуматься: а разве масса, которую Степун считает противоположностью формы, не может быть эстетически и, более того, формально прекрасна, как прекрасен аморфный океан, как по-своему прекрасны тундра и пустыня? Разве в этих природных формах отсутствует начало композиции, которое присутствует, как мне кажется, и в космическом пространстве, ибо чистого хаоса

²⁴ Ф.А. Степун, *К феноменологии ландшафта* [в:] Ф.А. Степун, *Сочинения...*, с. 804–805. Курсив Ф.А. Степуна, разрядка моя. – В.Щ.

в природе не существует, как не существует и абсолютного порядка? Последуем, однако, далее за мыслью философа. Мы в Германии:

Гарц, Шварцвальд и Оденвальд представляют собою наиболее оформленную и в композиционном отношении наиболее совершенную часть всей Германии. И, всё-таки, как здесь всё несравнимо с ландшафтом Тосканы: темно-зеленые ели сливаются в черные массы; черные кряжи дерев взбираются змеями по горным откосам и спускаются по узким долинам (...). Вечерами часто приходят туманы и облекают горы и ели своими синими, сине-лиловыми, мглистыми, желтыми и серыми ризами. Всё окрест становится еще призрачнее и неуловимее. Тоже и лунными ночами: всё в горах и долинах странно смещается и неверно улыбается бледно-зеленою зыбью. Таково обаяние Шварцвальда, враждебного строгой линии и незыблемой грани, вечно беспокойного и бесформенного, куда-то постоянно зовущего. Сам по себе незаконченный, он всё же требует своего завершения; бесконечной тоской по концу проливается в душу, его созерцающую.

Так неформленность горного ландшафта Германии определяется, с другой стороны, как его имманентность человеческой жизни и душе. Если флорентийский ландшафт, основанный на принципе аналитической разграниченности элементов красоты, на принципе формы как объективности и объективности как трансцендентности природно-художественного объекта созерцания переживающей его душе нашел себе свое теоретическое обоснование в эстетике Канта, то философским осознанием природных красот Шварцвальда и Гарца, с их синтетическим воссоединением элементов красоты в формально нерасчленимый целостный лик и с их приветливой раскрытостью навстречу человеческому духу, является, безусловно, эстетическое учение романтизма²⁵.

Романтизм, продолжает Степун, стремится к уничтожению непреодолимой границы между самодовлеющей формой как пейзажа, так и создаваемого человеком искусства. «Отрицание формы в искусстве, – утверждает он, – есть всегда снятие дистанции между жизнью и творчеством, а тем самым и возвращение творчества к его религиозным корням»²⁶. Религиозным не в смысле соотносительности с богословским учением той или иной конфессии, а в смысле сопричастности живущего и творящего субъекта великому Целому, первоначальной силе, которая всегда будет господствовать над человечеством, ибо человечество – лишь его малая и незначительная часть. Одни, в том числе сам Степун, называют эту силу Богом, иные, в том числе я – природой, Материей или Энергией. Природа бесконечна во времени и пространстве. Вне ее невозможно никакое бытие, никакое существование, а тем более сознание. Когда в природе возникают пластически рациональные формы земного ландшафта, напоминающие искусство, мы имеем дело с частным, а, быть может, исключительным случаем сокрытия первоначальной стихийности. Другого такого ландшафта мы не встретим нигде, кроме Тосканы и, быть может, Лазурного берега и Лигурии. Всё остальное, если можно так сказать, страшнее, так как в большей степени напоминает о величии стихии, которая всегда будет сильнее человека. Шварцвальд и Гарц – шаг на пути

²⁵ Ibidem, с. 806.

²⁶ Ibidem. Разрядка моя. – В.Щ.

к тем многочисленным ландшафтам, в которых изысканность формы подавляется грандиозностью объемов и тяжестью масс. Но грандиозность и массивность стихийной «бесформенности» на огромной равнине, протянувшейся от Северного моря на западе до Урала и далее на восток, с переходом в Великую степь означают не что иное, как безграничное растекание по горизонтали, по плоскости, то есть столь милый русскому человеку простор, о к о е м.

Так перейдем же от Германии к России. Взгляды Степуна на связь ее ландшафта с характерными особенностями русского образа мысли и культурного творчества не претерпели существенных изменений на протяжении всей его жизни, однако философ вносил в них ряд уточнений. Потому я позволю себе привести фрагмент из его ранее упомянутой поздней книги – *Большевизм и христианская экзистенция*, вышедшей по-немецки в 1959 году²⁷:

Едешь дни и ночи, а за окном вагона ничего существенно не меняется. Всё снова и снова: бесконечные дали, тут и там пересеченные низкими холмистыми грядами, похожие на унылый вздох земли (М. Горький). В этих даях: тихие пашни, кустарники и леса, которые сбегают от далекого горизонта к железной дороге и вновь убегают за горизонт. Пыльные проселки, идиллические полевые дороги, медленные реки, а также всё созданное руками человека – покрытые соломой деревянные избы, трясущиеся мостики – всё это действует скорее как природа, нежели как культура. Всё невзрачно, всё построено и поставлено приблизительно и наскоро из материала, какой был под рукой. Ничто не пленяет взгляд, ничто не насыщает, не слепит его. Голодный и свободный блуждает он вокруг, уходя практически от каждого дерева и куста, каждого забора и крыши навстречу горизонту. В этом всегда новом распаивании горизонта взгляду, в той манере, с какой этот пустынный горизонт парит, кружит, летит и всё же как будто покоится, узнает очарованный взгляд красоту русского ландшафта. Красоту без надежды, даль без перспективы, – более мелодию, чем картину.

Если попытаться понятийно определить бросающееся в глаза различие между западно-европейским и русским ландшафтами, то можно, однако с некоторыми оговорками, сказать: южно- и западно-европейский ландшафт – это полнота формы на теснейшем пространстве, русский – это в бесконечность излучающаяся бесформенность. С помощью этого тезиса мы глубоко проникаем в проблематику русской души и русской культуры²⁸.

Конечно, это всего-навсего самое общее, схематичное описание и еще более схематичное противопоставление России и Запада. Оговорки здесь так и просятся. В России есть, разумеется, бесконечные дали, но есть и совершенно закрытый горизонт – например, в лесу или на речных

²⁷ F. Steppuhn, *Der Bolschewismus und die christliche Existenz*, München 1959.

²⁸ Ф.А. Степун, *Большевизм и христианская экзистенция...*, с. 583–584. Рассуждения Ф.А. Степуна почти буквально совпадают с мыслями Вениамина Семенова Тянь-Шанского, выдающегося русского географа начала XX века, который писал: «Жителю замкнутых горных стран не свойственен тот размах и необузданность в творчестве, которые встречаются у жителя равнин с их ширью и безграничностью. Зато архитектоника форм творчества у жителя гор отчетливее, а у жителя равнины страдает бесформенностью, при всей красочности» (В.П. Семенов Тянь-Шанский, *Влияние географического ландшафта на творчество человека* [в:] *Гул земли. Литературно-научный и художественный сборник*, Ленинград 1928, с. 133–134).

плесах. Или: сказать, что в русском пейзаже нет ничего, что может пленить глаз, также никак нельзя. Даже особенно неприязненно настроенным уроженцам Восточной Европы нравятся окрестности Тарусы, Клинско-Дмитровская гряда или правый, высокий берег Волги, гордо именуемый горами. Очень живописно и совсем не уныло выглядят многочисленные моренные гряды, песчаные обрывы, сосновые боры, высокие берега рек и озер. А сколько укромных уголков, сколько уютных восхитительных опушек и полянок, сколько уютных бухточек можно встретить в России! К тому же очень многие иностранцы любят зимний ландшафт, который встречается на запад от Буга довольно редко, разве что высоко в горах. Но с другой стороны, если вдруг перенестись на Восточно-Европейскую равнину из Тосканы или из Швейцарии, глаз будет поражен плоскостью, однообразием и невыразительностью природных форм. Впрочем, то же самое впечатление испытает путешественник, попавший в Канаду, а еще более удручающее – очутившийся в Сахаре или в азиатской Великой степи. Россия в этом отношении вовсе не экстремальна. Степун понимает это и спешит заметить, что полной, чистой бесформенности нет нигде на свете и что русский пейзаж тоже предстает в определенных формах. Их можно назвать бесформенностью в смысле формы, «которая не покоится, не сама по себе существует, которая не представляет собственной самозаконности и жертвенно отказывается от принципа автономии»²⁹. И это действительно так: за исключением немногих представителей элитарных слоев, воспитанных в западноевропейском духе, и русский простой народ, и большая часть интеллигенции до самого последнего времени полагали, что в недостаточно еще просвещенной России никто не может себе позволить на такую роскошь, как принцип автономии формы и на чисто эстетическую деятельность во благо красоты.

При всех возможных оговорках нельзя не признать, что основной пафос утверждений Степуна удивительно верен. «Безграничный» и однообразный русский ландшафт веками приучал наших соплеменников к мысли о том, что любое цивилизованное человеческое усилие на этой ничьей или «Божьей» земле, в принципе, обречено на неудачу. Решительное, окончательное превращение природы в культуру по примеру того, как это было сделано на Западе в силу победившего там гуманизма, на этой земле невозможно, пагубно или по крайней мере греховно. Несколько десятков миллионов человек, населявших Западную Европу, подобно дерзкому Прометею, позволило себе поверить в творческие возможности человека, так как при благоприятном стечении исторических обстоятельств им оказалось под силу за пятнадцать веков превратить сравнительно небольшой западноевропейский полуостров в царство цивилизации, где голос дикой природы уже совсем заглушен голосом человеческого разума и человеческой воли. Но разве могли всё те же несколько десятков миллионов освоить 17 075 000 квадратных

²⁹ Ф.А. Степун, *Большевизм и христианская экзистенция...*, с. 584.

километров, на половине которых не ступала нога человека? Освоить, учитывая континентальный климат, неудобные для обработки земли, болота, вечную мерзлоту, засушливые степи и исключительно неблагоприятные исторические обстоятельства, включая экономическую конъюнктуру и особенности политического строя, во многом обусловленные географическим положением, величиной и национальной разнородностью территории страны? Или, если рассуждать скромнее: под силу ли было многочисленным и, по сути дела, разрозненным восточнославянским племенам освоить и полностью цивилизовать территорию Киево-Новгородской Руси, от Белого моря до низовьев Днепра, если эта территория была больше и гораздо труднее поддавалась освоению, чем вся остальная Европа, от Скандинавии до Сицилии и от Иберии до Буга и Прута?

Восточные славяне и примкнувшие к ним или завоеванные и ассимилированные ими народы могли сделать нечто иное и повести себя по-иному. На этой бесконечной, однообразной и не слишком благоприятной для человека равнине они были в состоянии выжить. И это им удалось, несмотря на все препятствия и страшные испытания, которые они встретили на своем историческом пути. Но равнина и трудная история научили их, что никакое, даже весьма скромное и относительное благополучие не длится долго. Дом в любую минуту может сгореть (а камень слишком дорогой), урожай погибнет от засухи, мост снесут паводковые воды, дорогу размоют проливные дожди, магазин или фабрику заберут власти или сожгут соседи... Стоит ли в таком случае делать что-нибудь по-настоящему солидно, на века? Стоит ли вообще работать на совесть, если всё равно ничто не принадлежит тебе самому по праву, по закону – ни тот же дом, ни земля, ни лес, ни даже накопленное богатство, которое того гляди понравится какому-нибудь разбойнику с большой дороги или всевластному чиновнику. Так уж устроена эта цивилизация – цивилизация выживания, в условиях которой экономически выгодное расширенное воспроизводство становится слишком рискованным делом.

Никакая не лень, не разгильдяйство, никакой не страх и не врожденная склонность к анархии (хотя эти пороки широко распространены среди всех славян) не являются первопричинами такого положения вещей. Степун совершенно прав: равнина в незапамятные еще времена произвела неизгладимое впечатление на пришедших сюда с юго-запада славянских земледельцев. «Оставь надежду всяк сюда входящий», – гласил неписанный закон, витавший над ее просторами, словно надпись на воротах дантова ада. Попадавший сюда вскоре понимал, что он и его труд бессильны перед лицом всемогущей дикой «бесформенной массы». Жившие на севере этой равнины балтийские и финские племена занимались только охотой, рыболовством и земледелием, южные кочевники – скотоводством и разбоем. И то и другое было занятием, не нарушавшим первобытной дикости равнины и рассчитанным как раз на

простое выживание. Ни о каком, даже самом примитивном товарном производстве, ни о каком торговом обмене не могло быть на равнине и речи. А значит – не могло быть и истории. Жить в природе, питаться, как звери, ее плодами – только это могла предложить равнина поселившимся на ее просторах земледельцам.

Однако славяне привыкли заниматься посечным земледелием, сжигая леса и тем самым в известном смысле осваивая всё новые и новые территории. Неторопливая, размеренная жизнь древних балтов или прафиннов их, видимо, не удовлетворяла. Можно только попробовать себе представить, как невероятно трудно было жить земледельческим трудом на «пустой» и совершенно для этого не годящейся большой равнине, как «воспитывала» и как «наказывала» дерзких землепроходцев беспощадная ее природа. Глубоко укоренившееся в их коллективной памяти чувство того, что вступать с нею в единоборство бесполезно и безнадежно, по-видимому, вызывало в них осознание содеянного греха. Окончательную победу одерживает не человек, а некие высшие силы. Степун же, как верный сын эпохи модернизма и как яркий представитель религиозного возрождения, прямо отождествляет эти силы с Богом, выдвигая тезис о глубочайшей религиозности русского народа:

(...) почет и любовь русского народа принадлежат не герою, который по собственной воле идет своим собственным путем и в прометеевском пафосе пытается определить судьбу ближнего своего, а тихому святому, который, забыв о своих собственных чувствах, живет только для того, чтобы быть тем окном, через которое Бог смотрит на людей, а они на Бога. Само собой разумеется, душа и дух святого имеют свою форму, но не собой сотворенную и не самозаконную, а сверху ему дарованную. Как бесформенность русского ландшафта формируется горизонтом, где земля и небо касаются друг друга, так и бесформенность святого формируется границей временного и вечного в его душе³⁰.

Позволительно будет в данном случае не во всем согласиться с мудрым и глубоким мыслителем. Тихий святой, о котором говорит Степун – образ чисто христианский, в то время как непосредственная открытость души русского человека бесформенности Духа Святого, парящего вне времени и пространства – не что иное, как одна из модификаций первобытного анимизма, а что из этого следует – язычества³¹. Иудеохристианский пафос

³⁰ Ibidem, с. 585.

³¹ В этом смысле проницательнее религиозных философов начала XX века оказался Виссарион Белинский, который, впадая в известные крайности, утверждал в знаменитом письме к Н.В. Гоголю (1847): «Основа религиозности есть пизитизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу (...). Это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности (...) мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме (...). Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличающихся тихую, холодною, аскетическою созерцательностью, – ничего не доказывают» (В.Г. Белинский, *Полное собрание сочинений*, т. X, Москва 1956, с. 215). Для меня важна в словах Белинского констатация того факта, что русский крестьянин вовсе не вдохновлен идеалом «тихого святого», о котором пишет Степун, а верит в суеверия, тесно связанные с языческим мирозерцанием.

избранного народа, исторического деяния и страданий и гибели за веру мог быть и был популярен в узком кругу высокопросвещенных интеллигентов-книжников. Рядовой же великорус не творил историю и не часто умирал за веру, но зато каждый Божий день преодолевал тупое сопротивление природной материи. Это вовсе не означает, что он не верил не во что святое, ибо вера в святое и вера в библейского Бога вполне могут не совпадать друг с другом. Той высокой святостью, в которую он не мог не верить, ибо ее вездесущее могущество ощущал буквально на каждом шагу, конечно же, была природа в ее сверхдуховной, как воображал себе Степун, чистоте, «бесформенности» и безграничности. Разумеется, мы вправе считать великоруса религиозным, но лишь с учетом того обстоятельства, что в основе его религиозности лежала не вера в трансцендентного личного Бога, а свойственное большинству доисторических племен и народов пантеистическое мирозерцание, предполагавшее тождество имманентного мира с трансцендентным духом, иными словами – абсолютную духовность священной природной материи и природной энергии. Мистический Бог, которого упоминает Степун и окном которого ощущал себя житель великой равнины, был ничем иным, как одухотворением красоты и могущества этой равнины – синью неба, бесконечностью горизонтов, неторопливым течением рек, бездонной чернотой морозной ночи.

По всей вероятности, именно так воспринимали окружающий их мир жившие на равнине финно-угры, балты и иные этнические группы. Позиция прибывших туда славян, в отличие от иных племен, была двойственной: с одной стороны, они не хотели отказываться от традиционных экспансивных занятий, которые можно рассматривать как вызов, брошенный природе, с другой же – понимали, что на этой равнине победа цивилизации над дикой первозданностью никогда не будет достигнута. Понимая это, они проникались скорее не любовью, а уважением к непреодолимой силе природы («Сила солому ломит», как говорит русская пословица), с которой они вынуждены были смириться и видимыми проявлениями которой были и «высота поднебесная», и «широта океан-море»³², и «бесформенный», но, говоря словами поэта, «врачующий» простор и покой:

А там, во глубине России, –
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив,
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...³³
Скорей туда – в родную глушь!
Там можно жить, не обижая

³² Выражения из зачина былины о Соловье Будимировиче (*Сборник Кириши Данилова*).

³³ Н.А. Некрасов, «*В столицах шум...*» (1857) [в:] Н.А. Некрасов, *Стихотворения. Поэмы*, Москва 1971, с. 144.

Ни Божьих, ни ревижских душ
 И труд любимый довершая.
 Там стыдно будет унывать
 И предаваться грусти праздной,
 Где пахарь любит сокращать
 Напевом труд однообразный.
 Его ли горе не скребет?
 Он бодр, он за сохой шагает.
 Без наслажденья он живет,
 Без сожаленья умирает.
 Его примером укрепись,
 Сломившийся под игом горя!
 За личным счастьем не гонись
 И Богу уступай – не споря...³⁴

Вот и вся нехитрая жизненная философия жителя большой и трудно осваиваемой равнины, по которой никогда не ступали копыта римских легионов, несущих с собою право, технику и просвещение.

Если уважение к природе, смирение перед ее непреодолимой мощью было основным поведением жителей Восточно-Европейской равнины, то в Новое время, начиная с утопических проектов петровской эпохи и кончая современностью, всё чаще возникают попытки во что бы то ни стало покорить природу, которые можно рассматривать как соответствующее антиповедение. Подобного рода прометейские умонастроения оказались особенно популярными и устойчивыми в период научно-технической революции на рубеже XIX и XX веков, а также на протяжении практически всего XX столетия. Антинатуралистическая «философия общего дела» Николая Федорова, русский космизм, кубофутуризм, мичуринское движение с его знаменитым лозунгом: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача»³⁵, а также печально известный проект поворота северных рек в Среднюю Азию³⁶ – суть разные проявления этого антиповедения, от заслуживающих серьезного внимания до совершенно курьезных. Весьма характерны для этих настроений такие, к примеру, воинственные слова *Песни покорителей природы* из фильма Эдуарда Пенцлина *Таинственный остров* (1941, автор стихов Евгений Долматовский, музыки – Никита Богословский):

Мы взлеем одно зерно –
 Зашумят молодые всходы.
 Только смелым бойцам дано

³⁴ Н.А. Некрасов, *Тишина* (1857) [в:] Idem, с. 149. Фраза «Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» звучит в начале того же стихотворения (ibidem, с. 144).

³⁵ И.В. Мичурин [Предисл. к третьему изд. книги *Итоги шестидесятилетних работ по выведению новых сортов плодовых растений*, 1934]. Цит. по: К.В. Душенко, *Словарь современных цитат. 4300 ходячих цитат и выражений XX века, их источники, авторы, датировка*, Москва 1997, с. 261.

³⁶ Статья на эту тему, опубликованная в журнале «Наука и жизнь» в середине 1960-х годов, называлась «И потечет Печора в Каспий».

Штурмовать укрепления природы³⁷.

Только веками накопившимся отчаянием по необходимости покорных людей и, опосредованно, влиянием иудеохристианского антропоцентрического мировоззрения можно объяснить подобные немудрые дерзости.

Streszczenie

Метафизика ландшафта а цивилизация равнины (Федор Степун)

Fernando Savater, współczesny pisarz kataloński, twierdzi, że każdy człowiek rodzi się i żyje w świecie nie natury, lecz kultury: otaczają go nie niebo, drzewa i dzikie zwierzęta, lecz ludzie i owoce ich pracy. Z podobnym wyobrażeniem o świecie nie zgodziłoby się jednak wiele świątłych umysłów rosyjskich. Mieliby ku temu wszelkie podstawy, ponieważ dzika przyroda na wschodzie kontynentu europejskiego ciągle przypomina o swojej potędze, zachodnia cywilizacja zaś – wręcz odwrotnie. Olbrzymie tereny, cywilizacyjne pustkowia oraz monotonia krajobrazu – oto trzy ważne parametry środowiska naturalnego, które przez długie stulecia wywierały przemożny wpływ na mentalność przeważającej części Słowian wschodnich, a także na charakter dziejów całej Rusi, gdzie, jak zauważył poeta Afanasij Fet, „czas zgubił się w przestrzeni”. Każda z wymienionych cech przestrzeni geograficznej stanowi wartość pozytywną, zarówno dla znacznej części prostego ludu, jak i warstwy wykształconej. „Kraina pusta, biała i otwarta”, przestworza (ros. *пocтор*), o której z przerażeniem pisał Adam Mickiewicz w *Ustępie Dziadów części III*, często jest postrzegana jako przestrzeń szczęśliwa, bo wolna od zbędnych społecznych ograniczeń pierwotnej „naturalnej” swobody oraz kępujących konwenansów. Twórcy działający w warunkach Wielkiej Równiny budują gmach kultury nie wbrew potędze natury, lecz uwzględniając ową potęgę, o której ciągle pamięta każdy intelektualista, każdy mieszkaniec wielkich miast, chociaż z drugiej strony wielu wybitnych myślicieli i artystów, jak np. Piotr Czaadajew, Osip Mandelsztam lub Michaił Bachtin, próbowało uniezależnić Rosjan od archaicznych związków emocjonalnych, łączących ich z nieoswojoną przyrodą.

Problem monotonii krajobrazu Równiny Wschodnioeuropejskiej jako czynnika powodującego znaczne trudności przy kolejnych próbach przyłączenia Rosjan do grona *homini historici* został w interesujący sposób przedstawiony w licznych artykułach i esejach historyzoficznych Fiodora Stiepuna – wybitnego rosyjskiego filozofa pierwszej połowy XX wieku, o orientacji okcydentalistycznej i metafizyczno-racjonalistycznej. W artykule pt. *Przyczynek do fenomenologii krajobrazu* (1912) oraz znacznie późniejszym dziele pt. *Bolszewizm i egzystencja chrześcijańska* (1959) myśliciel porównuje pejzaże Toskanii, Czarnolasu (Schwarzwald) i Równiny Rosyjskiej, w dobitny sposób ukazując wpływ

³⁷ Цитирую по памяти. Еще один пример дерзкого прометейства на этот раз хрущевской поры – план так называемой химизации. На пленуме ЦК КПСС 9 декабря 1963 года Н.С. Хрущев сделал доклад, в котором прозвучали слова: «Если бы был жив Владимир Ильич Ленин, он сказал бы примерно так: коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства» (цит. по: К.В. Душенко, *Словарь...*, с. 388). Сразу же после этого на первой программе Центрального телевидения появилась «химическая» передача, в начале которой звучала бодрая песня со словами (цитирую по памяти): «Под силу нам, смелым и дружным / Любые задачи решить, / Поставить природу на службу, / Заставить народ служить».

naturalnych kształtów budowy terenu na wyobraźnię mitopoetycką mieszkających tam ludzi. Wyraziste i harmonijne kształty cechujące okolice Florencji i Sieny są przeciwieństwem rosyjskich przestworów, występujących w postaci czystej bez żadnych określonych kształtów. Ten brak formy i ta monotonia uczą tubylców pokory i szacunku dla wszechpotężnej natury, powodując, że cywilizacja, która powstała w tej krainie, przybiera charakter cywilizacji przetrwania, bez wyraźnej nadziei na rzeczywisty postęp. W opozycji do tego podstawowego zachowania Rosjan w ich dziejach pojawia się także „antyzachowanie”, które wyraża się w prometejskim haśle walki z Bogiem, naturą lub z nieubłagalną logiką dziejów.

Można jednak wątpić w sugestie Stiepuna co do tego, że przyroda Wielkiej Równiny, w odróżnieniu od zróżnicowanej i „kształtnej” Europy Zachodniej, powoduje u tubylców umiejętność obcowania z pięknem i potęgą samego Boga oraz Jego czystego ducha, bez pośrednictwa formy, co oznacza większą religijność Rosjan w porównaniu z Włochami, Francuzami lub Niemcami.